**Шкидские рассказы**

**Последние халдеи**[**\***](http://rulibs.com/ru_zar/prose_su_classics/panteleev/1/notes.html#comm003001)

**Последние халдеи**[**\***](http://rulibs.com/ru_zar/prose_su_classics/panteleev/1/notes.html#comm003001)

**Что такое «халдей»?**

Эти очерки о «халдеях» написаны вскоре после выхода в свет «Республики Шкид». В то время автор мог и не объяснять читателю, что такое «халдей» и с чем его кушают. Человек, который учился в советской школе в первые годы революции, хорошо запомнил эту жалкую, иногда комичную, а иногда и отвратительную фигуру учителя-шарлатана, учителя-проходимца, учителя-неудачника и горемыки… Именно этот тип получил у нас в Шкиде (да, кажется, и не только у нас) стародавнее бурсацкое прозвище халдей.

А нынешнее поколение читателей знает, вероятно, куда больше о мамонтах или о бронтозаврах, чем о халдеях.

В современной советской школе халдеев нет. Есть неважные педагоги, есть очень плохие, но настоящего, чистокровного халдея я не встречал уже очень давно.

Подлинные халдеи сошли со сцены истории лет сорок назад, и, пожалуй, их последняя, их лебединая песня прозвучала как раз в республике Шкид, в той самой школе для беспризорных, которая дала мне путевку в жизнь и воспеть которую мне уже некоторым образом привелось.

Халдеи — совсем особая порода учителей. За несколько лет существования Шкидской республики их перебывало у нас свыше шестидесяти человек. Тут были и церковные певчие, и гувернантки, и зубные врачи, и бывшие офицеры, и бывшие учителя гимназии, и министерские чиновники… Не было среди них только педагогов.

Это люди, которых работать в детский дом гнали голод и безработица. Особенно яркие монстры запомнились мне. О них я и рассказал в этих беглых заметках. Пусть поживут они на страницах этой книги, как живет в музее чучело мамонта или скелет ихтиозавра.

**Банщица**

Ребята нашего класса славились многими качествами. Были среди нас великие бузотеры, были певцы, балалаечники и плясуны. Многие хорошо и даже замечательно играли в шахматы, многие увлекались математикой и техникой, но больше всего в нашем четвертом отделении было поэтов.

Уж не знаю почему и отчего, но «писателем» становился каждый, кто попадал в наш класс. Одни писали стихи, другие — рассказы, а некоторые сочиняли романы побольше, чем «Война и мир» или «Три мушкетера».

Писали все: и те, кто увлекался математикой, и те, кто играл в шахматы, и плясуны, и балалаечники, и самые тихонькие гогочки, и самые отчаянные бузовики и головорезы.

Мы много читали, любили хорошую книгу и русский язык.

Но вот с преподавателями русского языка нам не везло.

Целую зиму, весну и лето «родного языка» совершенно не было в расписании наших уроков. Викниксор, наш заведующий, ежедневно почти ездил в отдел народного образования, высматривал там разных людей и людишек и все не мог отыскать подходящего. Печальный, он возвращался домой, в школу, и сообщал нам, что «сегодня еще нет, но завтра, быть может, и будет». Обещали, дескать, прислать хорошего преподавателя.

Это «завтра» наступило лишь осенью, в августе месяце.

Однажды открылась классная дверь и вошла огромного роста женщина в старомодном шелковом платье с маленькими эмалевыми часиками на груди. Лицо у нее было широкое, красное, нос толстый, а прическа какая-то необыкновенная, вроде башни.

— Здравствуйте, дети! — сказала она басом.

— Здравствуйте, — ответили мы хором и чуть не расхохотались, потому что в Шкиде никто никогда не называл нас «дети».

— Я буду преподавать у вас русский язык, — сказала она.

— Замечательно, — ответили мы.

— Сядьте, — сказала женщина.

Мы сели. Халдейка походила по классу и раскрыла какую-то книгу.

— Читайте по очереди.

Она положила раскрытую книгу на парту перед Воробьем и сказала:

— Читай ты.

Воробей выразительно прочел:

— «Стрекоза и Муравей», басня Крылова.

— Фу ты! — воскликнул Японец. Мы тоже зафыркали и недоумевающе переглянулись. Мы ожидали, что нам покажут что-нибудь более интересное. «Стрекозу и Муравья» мы зубрили наизусть еще три-четыре года назад.

Воробей стал читать:

Попрыгунья-стрекоза   
Лето красное пропела,   
Оглянуться не успела,   
Как зима катит в глаза.

— Дальше, — сказала преподавательница и передвинула книгу.

Теперь запищал Мамочка:

Помертвело чисто поле,   
Нет уж дней тех светлых боле,   
Как под каждым ей листком   
Был готов и стол и дом.

— Дальше, — сказала халдейка.

Хрестоматия переходила с парты на парту. Мы читали один за другим нравоучительную историю стрекозы, которая прыгала, прыгала и допрыгалась.

Мы читали покорно и выразительно; лишь Японец, когда очередь дошла до него, заартачился.

— Да что это?! — воскликнул он. — Что мы — маленькие, приготовишки какие-нибудь?

— А что? — покраснела халдейка. — Вы это знаете?

Она посопела своим толстым носом и перелистнула страницу.

— Читайте.

Растворил я окно, стало грустно невмочь,   
Опустился пред ним на колени…

— Читать мы умеем, — сказал Японец. — И даже писать умеем. Вы нас, пожалуйста, с литературой познакомьте.

— «Растворил я окно» — тоже литература, — сказала халдейка.

— Плохая, — сказал Японец.

— Ты меня не учи, я не маленькая, — сказала великанша, вспыхнув как девочка.

— Вы нам о новейших течениях в литературе расскажите! — воскликнул Японец. — Вот что!

— Не смей выражаться! — закричала халдейка.

— Как «выражаться»? — испугался Японец.

— Ты выразился, — ответила халдейка.

— Ребята! — воскликнул Японец. — Я выразился?

— Определенно нет!

— Нет! — закричали мы.

— Не выразился!..

— Выразился, выразился! — в гневе закричала страшная женщина. — Что это такое значит «течения»? Объясни, пожалуйста.

— Фу ты! — сказал Японец.

— Читайте, — сказала халдейка.

Купец забасил:

И в лицо мне дохнула весенняя ночь   
Благовонным дыханьем сирени.

— Фу ты, — повторил Японец. — Ну расскажите нам про Маяковского, Федина, Блока…

— Не говори гадостей! — закричала мегера.

— Гадостей?!

— Да, да, гадостей. Что значит «блок»? Я не обязана знать вашего дурацкого воровского языка.

Японец встал, медленно подошел к двери и, отворив ее, прокричал:

— Вон!

Халдейка выпучила глаза. Мы нежно, любовно смотрели на Японца. Это было так на него похоже. Он весь горел в своем антихалдейском гневе.

— Вон! — закричал Японец. — Вам место в бане, а не в советской школе. Вы — банщица, а не педагог.

Великанша встала и величественно пошла к дверям. В дверях она обернулась и почти без злобы, надменно проговорила:

— Увидим, кто из нас банщица.

Не увидели. Исчезла. Растворилась, как дым от фугасной бомбы.

**Господин академик**

И опять мы остались без русского языка. И снова мы одолевали Викниксора мольбами найти нам преподавателя.

Викниксор ворчал.

— Найдешь вам, — говорил он. — Ведь вы лучшего преподавателя, вы академика, мирового ученого в могилу вгоните.

— Не вгоним, — обещали мы. — Честное слово, не вгоним.

Мы обещали, что будем сидеть на уроках русского языка, как самые благонравные институтки, мы обещали никогда не бузить, не ругаться и не смеяться над новым преподавателем, даже если он окажется каким-нибудь необыкновенно смешным, даже если у него будет два носа, или хвост, или овечьи рога.

Ради русского языка и русской литературы мы готовы были идти на любые жертвы.

Викниксор поворчал, поворчал, но смилостивился, поискал и нашел нам преподавателя.

Это был очень хороший, знающий свое дело педагог. Степенный, седенький, в золотых очках, он и правда был похож на академика. Так — Академиком — мы его и прозвали. Он пробыл у нас полтора или два месяца и за это короткое время успел прочитать курс русской литературы восемнадцатого, девятнадцатого и начала двадцатого века. Мы радовались этой удачной находке, мы стойко держали слово, данное Викниксору, и вели себя на уроках Академика так, что нам и в самом деле могли позавидовать самые скромные институтки.

И вдруг случилось большое несчастье.

Такое несчастье могло случиться только в нашей стране, в Советском Союзе.

Однажды во время письменной работы, когда мы слегка разнервничались и расшумелись, Академик поднял голову от книги, которую читал, и сказал:

— Нельзя ли потише, господа.

Мы вздрогнули. Мы сразу даже и не поняли, что случилось.

Потом Горбушка, не выдержав, закричал:

— Господ нету! Не царское время…

— Действительно, — сказал Японец.

Мы с удивлением смотрели на Академика.

Академик смутился, привстал и поправил очки.

— Прошу прощения, — сказал он. — Это как-то нечаянно вырвалось. Честное слово. Извините, господа.

Мы не могли уже больше сдержать своего негодования. Позабыв обещание, данное Викниксору, мы стали орать, улюлюкать, топать, как бывало на уроках самого ненавистного халдея.

Академик заерзал на стуле и покраснел.

— Товарищи, — сказал он, — я — старый человек. Мне очень трудно отвыкнуть от старых бытовых выражений. Вы должны извинить меня.

После уроков, оставшись наедине, мы долго судачили: как нам быть?

— Ребята, — сказал Японец, — придется простить ему его старость и политическую косность. Иначе — простимся с литературой. Решайте.

— Ладно. Черт с ним, — решили мы.

Мы простили ему его старость и политическую косность. Мы терпеливо сносили, когда на уроках он проговаривался словом «господа». Мы только морщились. А он, спохватившись, всякий раз извинялся перед нами. И это выглядело очень жалко и гнусно, и наше уважение к Академику постепенно меркло.

Теперь мы вели себя на его уроках уже не так смирно. Академику приходилось туго. Но он терпел. В то время была большая безработица среди педагогов, и Академик не мог не дорожить службой в Шкиде, где, кроме жалованья, воспитатели получали богатый «дефективный» паек.

Он продолжал читать курс русской литературы. И мы по-прежнему жадно глотали все, что он рассказывал нам — о Чехове, о Толстом, о Горьком, Бальмонте, Блоке…

Но вот однажды, рассказывая нам о творчестве Льва Толстого, Академик сказал:

— Государь император с интересом следил за деятельностью Толстого.

— Какой «государь император»? — воскликнули мы.

— Государь Николай Александрович, — сказал Академик, — Николай Второй.

— Николай Кровавый? — сказал Японец. — Или Николай Палкин? Выражайтесь точнее!

Академик опять покраснел.

— Товарищи, — начал он, — я — старый человек. Я не…

— Да, да! — закричал Японец. — Вы старый человек, Эдуард Константинович, а мы новые. Как видно, старые птицы не могут петь новых песен. Что ж делать! Адью! Нам придется расстаться.

— Что?! — попробовал возмутиться Академик. — Как вы сказали? Повторите!

Но «академический» тон ему не помог. Когда мы решали «вон» — это было свято.

Академика сняли с работы административным путем по ходатайству нашего класса.

Мы проводили его — честное слово — с сожалением. Нам не хотелось расставаться с хорошим преподавателем. Ведь мы опять оставались без русского языка.

**Графолог**

Этот маленький человек пришел на урок в пальто, как будто предчувствовал, что является ненадолго.

Снял у дверей галоши и мило улыбнулся.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — довольно приветливо ответили мы.

Он взобрался на кафедру, ласково и внимательно оглядел сквозь очки класс и тихо сказал:

— Вы знаете, кто я?

— Догадываемся, — ответили мы.

В нашем классе давно уже не было преподавателей анатомии, биологии и русского языка, и вот мы наперебой стали высказывать свои предположения:

— Анатомик!

— Биолог!

— Русский!

— Я — графолог, — сказал человек.

Этого мы не ожидали.

— Это что же такое — «графолог»? — спросил Воробей.

— А вот что, — сказал человек, — я по почерку, по начертанию букв и прочих графических знаков определяю характер человека и его склонности.

— Здорово! — закричал Мамочка.

— А шпаги глотать вы умеете? — спросил Японец.

— Нет, не умею, — ответил человек. — Я — графолог. По почерку я узнаю людей злых и мягких. Я угадываю тех, кто склонен к путешествиям, и тех, кто не любит излишних движений и пертурбаций.

Мы радостно ржали.

— Фокусник! — заливался Янкель. — Ей-богу, фокусник!

— Хиромант! Гадалка! — визжал Японец.

Человек, все так же улыбаясь, порылся в карманах пальто и вытащил оттуда какой-то конверт.

Мы замерли.

— Вот, — сказал он, вытряхивая из конверта на кафедру кучу квадратных билетиков. — Я дам каждому из вас по такому билетику и попрошу написать какую-нибудь фразу. Кто что пожелает. Содержание и смысл не имеют значения.

— Послушайте, — сказал Японец. — Зачем все это?

— Ага, — улыбнулся графолог, — вы любознательны, молодой человек, это похвально. Прежде чем приступить к воспитательской работе, я должен изучить аудиторию. Моя наука, графология, помогает мне в этом. Возьмите билетики, мальчики.

Мы кинулись на приступ кафедры и расхватали билетики нашарап. После этого быстро, как никогда, мы расселись по своим партам.

— Пишите, — сказал графолог.

— Что хочешь писать? — закричал Купец.

— Что угодно, — ответил графолог.

И мы постарались. В самом деле, что можно было ожидать от дефективных шкетов? Что, помуслив карандаши и поскоблив затылки, они напишут нежным, изящным почерком:

«Луна сияла в небесах»?

Или:

«Я люблю мою маму»?

Записки, поданные графологу, были сплошь непристойные. Вычурные ругательства не помещались на маленьких квадратиках. Специалисты по ругани делали переносы и дописывали слишком сложные предложения на оборотной стороне бумаги.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал графолог, собирая записки в груду. — Вы слишком прилежны. Всё? — спросил он.

— Всё, — ответили мы.

Поправив очки, он начал читать. Уже на четвертой записке он так покраснел, что мы испугались. Так умеют краснеть только девочки и некоторые мальчики, которых часто дразнят и бьют. Взрослых людей мы не видели этаких.

Проглядев еще две-три записки, графолог поднял глаза.

Мы испугались.

— Ну вот, — сказал он. — Все это нужно, пожалуй, показать вашему директору. Он, мне думается, лучше сумеет определить ваши характеры и ваше поведение. Но вы не ошиблись, — вдруг улыбнулся он. — Я — фокусник.

— Видите эту груду бумажек? — сказал он. — Она есть!

Загадочно улыбаясь, он снова полез в карман и вытащил оттуда что-то.

Всё больше и больше пугаясь, мы вытянули шеи, приподнялись над партами. Вытащи он из кармана змею или живого зайца, мы бы не испугались больше. Мы чувствовали себя как в цирке, где все невозможное возможно.

Но он вынул — спички.

Размашисто чиркнув, он подпалил бумагу.

Пламя скользнуло по белому вороху, потекло к потолку и проглотило наш страх.

— Теперь ее нет, — раздался голос графолога.

— Ур-ра-а-а! — закричали мы. — Ура! Ура!

Голубоватый дым рассеялся над кафедрой.

Человек у дверей надевал галоши.

— До свиданья, — сказал он и скрылся.

**Мисс Кис-Кис**

По-видимому, эту барышню долго и основательно пугали. Добрые люди наговорили ей ужасов про дефективных детей. Перед этим она прочла не одну и не две книжки про беспризорников, которые сплошь убийцы и поджигатели, которые разъезжают по белому свету в собачьих ящиках, ночуют в каких-то котлах и разговаривают между собой исключительно на жаргоне.

Барышня подготовилась.

Пока Викниксор знакомил нас с нею вечером после ужина, мы насмешливо разглядывали это хрупкое, почти неживое существо. Когда же Викниксор вышел, со всех сторон посыпались замечания:

— Ну и кукла!

— Скелет!

— Херувимчик!

— Мисс Кис-Кис…

Барышня покраснела, потупилась, закомкала платочек и вдруг закричала:

— Ну, вы, шпана, не шебуршите!

От неожиданности мы смолкли.

Барышня сдвинула брови, подняла кулачок и сказала:

— Вы у меня побузите только. Я вам… Гопа канавская!..

— Что? — закричал Японец. — Как? Что такое?

Он вытаращил глаза, схватился за голову и закатился мелким, пронзительным смехом. Японец дал тон. За ним покатился в безудержном хохоте весь класс. Стены задрожали от этого смеха.

Барышня громко сказала:

— Вы так и знайте, меня на глот не возьмете. Я тоже фартовая.

Она усмехнулась, харкнула и сплюнула на пол. Молодецки пошатываясь, она зашагала по классу.

— Шухер, — сказала она, — хватит вам наконец филонить. Ты что лупетки выкатил? — обратилась она к Японцу.

Тот, не ответив, еще оглушительнее захрюкал.

— Послушай! Подхли сюда! — закричала она тогда.

Согнувшись от смеха, Японец выбрался из-за парты и прошел на середину класса. Мы придушили смех.

— Ты что гомозишь, скажи мне, пожалуйста? — обратилась воспитательница к Японцу.

— Ась? — переспросил Японец. — Что?

— Ты это вот видел? — сказала барышня и поднесла к самому носу Японца маленький смешной кулак.

— Это? — спросил Японец и, деланно изумившись, воскликнул: — Что это такое?

— Видел? — угрожающе повторила барышня.

— Ребята! — воскликнул Японец и вдруг цепко схватил руку несчастной барышни повыше кисти. — Ребята! Что это такое? По-моему, это — грецкий орех или китайское яблоко…

Мы выскочили из-за своих парт и обступили халдейку.

— Пусти! — закричала она, задергалась и сделала попытку вырваться. Но Японец крепко держал ее руку. — Пустите, мне больно. Мне больно руку…

Японец злорадно хихикал. Мы тоже смеялись и кричали наперебой:

— Лупетка!

— Ангел!

— Мадонна Канавская!

Барышня вдруг заплакала.

Японец разжал ее руку, и мы, замолчав, расступились.

Подергиваясь хрупким нежным тельцем, барышня вышла из класса.

Мы были уверены, что не увидим ее больше.

И вдруг на другой день, после ужина, она опять появилась в нашем классе.

— Здорово! — сказала она, улыбаясь. — Что зекаете? Охмуряетесь?

Снова посыпались невпопад блатные словечки. Снова несчастная барышня разыгрывала перед нами роль фартовой девчонки, плевала на пол, подсвистывала, подмигивала и чуть ли не матерно ругалась.

Советы добрых людей не пропали даром. Барышня решила не поддаваться «на глот» и вести себя с дефективными по-дефективному. Сказать по правде, на нас уже действовала ее система, и мы вели себя несколько тише.

— В стирки лакшите? — спросила она.

— Лакшим, — ответили мы.

— Клёво, — сказала она.

Мы не знали, что значит «лакшить в стирки».

— По-сецки поете? — спросила она.

— Поем, — ответили мы. И тоже не знали, что значит «по-сецки».

— И в печку мотаем, — сказал Японец. — И в ширму загибаем. И на халяву канаем.

— Ага! — сказала барышня. — Клёво!

Она была необычайно довольна и счастлива, что сумела найти общий язык с необузданными беспризорниками. Она ходила по классу, как дрессировщик ходит по клетке с тиграми. Тигры сидели смирнехонько и ждали, что она будет делать дальше.

Дальше, на следующий вечер, она принесла какой-то коричневый ящичек и поставила его на стол.

— Давайте займемся делом, — сказала она.

— Клёво! — ответили мы хором.

Барышня посвистала чего-то, потерла лоб, почесала затылок и спросила:

— Кто из вас умеет читать?

Мы не обиделись.

— Я немножко умею, — сказал Янкель.

— Прекрасно, — сказала воспитательница. — Канай ко мне.

Янкель подошел к учительскому столу. Халдейка открыла ящик и стала вынимать оттуда какие-то веревочки, карточки и деревянные кубики. На кубиках были оттиснуты буквы русского алфавита.

— Ты знаешь, какая это буква? — спросила барышня, взяв со стола кубик с буквою «А».

— Знаю, — ответил Янкель. — Как же… Отлично знаю… Это «Гы».

— Ну что ты, — поморщилась барышня. — Это «А».

— Может быть, — сказал Янкель. — Извиняюсь, ошибся.

— А это какая? — спросила барышня, поднимая кубик с буквою «Б».

— Это «Гы». — сказал Янкель.

— Опять «Гы». А ну-ка, подумай хорошенько.

— «Гы», — сказал Янкель.

— Нет, это «Б». А это какая?

— Дюра, — сказал Янкель.

Мы дружно захохотали.

Внезапно открылась дверь, и в класс вошел Викниксор. Как видно, он долго стоял у дверей и слушал.

— Товарищ Миронова, — сказал он. — Прошу вас собрать ваши вещи и пройти в канцелярию.

Барышня торопливо сложила свои веревочки, кубики и картонки в ящик и с ящиком под мышкой покинула класс.

Из школы она навсегда исчезла.

Откуда-то стороной мы узнали, что в начале 1922 года она поступила в китайскую прачечную на должность конторщицы или счетовода.

**Маруся Федоровна**

Другая барышня оставила о себе более приятную память. Это была такая же хрупкая барышня, такое же ходячее растение, готовое улететь при первом порыве ветра, но почему-то с первого взгляда она полюбилась нам, и ее появление не вызвало смеха в классе.

— Как вас зовут? — спросили мы.

— Маруся, — ответила барышня, а потом, спохватившись, добавила: — Федоровна.

Так и осталось за ней: «Маруся Федоровна».

Она читала ботанику. Скучнейшую, ненавистную, презренную ботанику по учебнику Кайгородова. Черт ее знает чем и как околдовала нас Маруся Федоровна. Буйные, непоседливые на других уроках, на уроках ботаники мы сидели смирнехонько, и, что еще удивительнее, мы с интересом слушали всякие сказки про мотыльковые и губоцветные растения, вызубривали наизусть длиннейшие латинские названия и рисовали у себя в тетрадках лютики, пестики и усики.

Купец рисовал стеблевые усики дикого винограда! Было чему подивиться. При этом его никто не принуждал. Маруся Федоровна не умела не только настаивать, но и сердиться. Она смеялась, шутила, рассказывала всякую чепуху. И всякая чепуха приводила нас в восторг. В такой восторг приходили мы Первого мая, когда нам читали «амнистию» и выдавали по четверти плитки дешевого пищетрестовского шоколада. В такой восторг нас могла привести только жратва. А тут — пестики… Не будь мы шкидцами, мы поверили бы, что Маруся Федоровна — фея.

И вдруг она заболела.

Пришел Викниксор и сказал:

— Ребята, Мария Федоровна тяжело больна. У нее — рак желудка.

Она не приходила больше на урок с раскрашенными своими таблицами и с синим шарфом на плечах девочки. В наших тетрадках лютики и пестики остались недорисованными…

Японец и Янкель разузнали адрес и сходили проведать больную.

Она их с трудом узнала.

У нее исчезала память. Она забывала названия самых обыкновенных вещей.

— Мамочка, — обращалась она к старушке матери. — Дай мне, пожалуйста… ну, как это называется… такой кругленький… кружочек…

Мать не понимала. Суетилась. Шкидцы тоже не понимали и помогали суетиться. Маруся Федоровна плакала. Оказывалось потом, что ей понадобилось блюдечко.

Или она начинала говорить:

— Вот у нас в техникуме был сторож. Такой смешной-смешной. Его звали… не помню как. Он все рассказывал нам… все рассказывал…

Маруся Федоровна закрывала глаза.

— Не помню, — говорила она и опять плакала.

Маруся Федоровна очень страдала. Время от времени страшная боль начинала резать ее внутренности. Лицо ее искажалось, она закусывала губы, и, когда она разжимала их, на губах показывались капельки крови.

В минуты затишья она говорила:

— Мальчики… что вы так тихо сидите? Вам скучно сидеть? Скажите, сегодня тепло на улице?

— Тепло, — хрипели в один голос шкидцы.

— Солнышко? Да?

— Да.

— Это чудно!

Мать ходила по комнате в войлочных туфлях и все что-то передвигала: на столе, на комоде, на подоконниках.

— Мамочка, — говорила Маруся Федоровна, — ты бы угостила мальчиков… чем-нибудь.

Шкидцы упорно отказывались, когда старуха предлагала им чай или кофе с бутербродами, хотя при других обстоятельствах каждый из нас набросился бы на такую прекрасную жратву в любое время дня и ночи.

Японец и Янкель возвращались в Шкиду и сообщали нам безнадежные новости.

Мы мрачно переживали болезнь Маруси Федоровны. По-своему, грубо, но самым настоящим образом мы страдали эти долгие две недели.

Мы не стали тише. Наоборот, мы бузили ожесточеннее, чаще дрались и попадали в изолятор. На уроках мы яростнее преследовали нелюбимых педагогов. Мы выгнали из класса нового ботаника, несчастного старика в темных очках, как только он появился на пороге нашего класса.

Наконец пришел Викниксор и сообщил:

— Маруся Федоровна умерла.

Мы быстро, без всякого приказания встали, как будто в класс вошел самый строгий воспитатель или инспектор губоно.

Кобчик заплакал. Остальные стали сопеть и кусать губы.

Викниксор отпустил нас на похороны. Мы отправились всем классом.

Это было осенью в дождливый день.

Марусю Федоровну хоронили по-старому, по-церковному. Перед гробом шел маленький мальчик с серебряной иконкой в руках. Мать и другие родственники шли за колесами катафалка, плакали и стучали каблуками, а мы — босоногие шкеты — шли позади всех и несли огромный металлический венок, украденный нами ночью на Волковом кладбище с могилы генерал-лейтенанта Круглова.

**Налетчик**

В числе тех немногих наставников и преподавателей, которых мы по-настоящему любили и уважали, был Константин Александрович Меденников — «Косталмед», преподаватель гимнастики.

Мы действительно любили этого огромного бородатого атлета, гриве которого мог позавидовать берберийский лев, а голосу — архидьякон Успенского собора (говорят, что от одного возгласа этого дьякона в церкви становилось темно — гасли свечи).

Косталмеда, несмотря на его звероподобность, мы любили. Но это не значит, что мы любили гимнастику. Нет, надо сознаться, что энтузиастов гимнастики, охотников прыгать через кобылу или делать вольные упражнения с гирями, было у нас не слишком много. Купец, Джапаридзе, Пантелеев — вот и вся гвардия Косталмеда. Остальные — волынщики, симулянты, филоны, вшивая команда, как называл их в минуты гнева сам Косталмед.

Поэтому, когда мы узнали, что Косталмед заболел возвратным тифом, многие из нас вместе с жалостью и сочувствием к воспитателю почувствовали и некоторое облегчение, некоторую надежду на отдых.

Но эта надежда быстро исчезла, когда пришел Викниксор и заявил:

— Могу вас поздравить, ребята…

— С чем? С чем? — закричали мы.

Мы подумали, что Викниксор раздобыл для нас партию обуви или зимних пальто.

— Радуйтесь, — сказал Викниксор. — Я нашел заместителя Константину Александровичу. Теперь у вас будет преподаватель гимнастики. И преподаватель отличный. Прирожденный гимнаст.

Для многих из нас это звучало, как «прирожденный палач».

Гражданин Л., преподаватель гимнастики, появился у нас на следующее утро. Не успел еще он показаться нам на глаза, как откуда-то проник и быстро распространился слух, что новый халдей только что вышел из тюрьмы.

Вероятно, слух этот пошел из учительской, но до нас он дошел стороной, и, так как подробностей мы не знали и знать не могли, нам оставалось догадываться, предполагать и фантазировать.

За спиной нового воспитателя поговаривали, что Л. — один из уцелевших сподвижников легендарного питерского налетчика Леньки Пантелеева, бандит и разбойник. Другие смеялись над этими предположениями и уверяли, что Л. — загримированный Антон Кречет, герой бульварных романов, которыми в то время зачитывались многие из нас. Горбушка же, наш поэт и гардеробный староста, додумался до совершенно туманных и непостижимых вещей. Он утверждал, что новый воспитатель только притворяется, что сидел в тюрьме, а на самом деле сидел не он, а Реджинальд Букендорф, известный лондонский поджигатель, а сам Л. вовсе не Л., а Нат Пинкертон.

Когда мы пытались слегка сомневаться в достоверности этих Горбушкиных домыслов, Горбушка не спорил. Он только говорил:

— А вы почитайте…

И, хмуро улыбаясь, он вытаскивал из парты пеструю замусоленную книжонку «Реджинальд Букендорф — неукротимый поджигатель». Мы читали и убеждались, что Горбушка прав: Реджинальд Букендорф действительно был поджигателем.

Как бы то ни было, над головой нового воспитателя с первого же дня его пребывания в Шкиде засиял ореол таинственности и легендарности.

Прозвище «Налетчик» сразу же утвердилось за ним. Это было почетное прозвище. Внешность его давала материал для других, более метких и обидных кличек. Мы могли бы назвать его, например, Кривоножкой, Сычом, Носорогом, Карликом… А назвали мы его Налетчиком, — это был очень высокий титул в нашей республике Шкид.

Налетчик не отличался атлетической внешностью. Это был невысокий, скорее даже низенький, широкоплечий человек с кривыми кавалерийскими ногами и очень длинным, гоголевским «птичьим» носом. Носил он защитный френч, блестящие черные сапоги и такие широкие синие галифе, что когда ему приходилось проходить через одностворчатую дверь, он должен был или идти боком, или прижимать руками свои воздушные пузыри.

Преподавателем он оказался очень хорошим. Несмотря на свою неказистую фигурку, он был весьма ловок, уверен в движениях и даже изящен. А от нас он не требовал невозможного и занимался главным образом с болельщиками и чемпионами, оставляя остальных в покое. Вообще это был «свой парень», с которым можно было чувствовать себя свободным и непринужденным. Солдатская грубость манер и выражений его нам страшно нравилась.

— А ну, братва, — говорил он, бывало, — давай стройся. Довольно вола вертеть.

При этом он делал страшную бандитскую рожу, подмигивал нам и свистел, как заправский разбойник. А через минуту, вытянувшись во фронт, он уже кричал по-военному зычно и раскатисто:

— Сми-р-р-рна!

Признаться, мы были в восторге от нового преподавателя, а Купец и его компания просто души не чаяли в гражданине Л. и готовы были растаять от счастья.

— Вот это да! Вот это класс! Вот это гимнастика! — захлебывались они и с усиленным рвением прыгали через кобылу, таскали пудовые гири и, как императорские гвардейцы, маршировали по Белому залу со своим кривоногим полководцем.

Бузили мы на уроках Налетчика, пожалуй, не меньше, чем на других уроках. Но сам Налетчик относился к нашей бузе иначе, чем прочие халдеи. Он никогда не сердился, не выходил из себя, не кричал и не наказывал нас. Всякую, даже самую дерзкую выходку нашу он старался обратить в шутку. Когда, например, на уроке ему требовалось повернуть шеренгу налево, из раза в раз повторялась одна и та же история.

— Нале-е-е… — начинал команду халдей.

— …тчик, — отвечали мы хором. Получалось: «Налетчик».

— Еще пять таких «налетчиков», — говорил, усмехаясь, Налетчик, — и класс будет записан в журнал.

Мы свято держались этого условия и, повторив пять раз свою шутку, на шестой прикусывали языки.

В перемену мы обступали Налетчика.

— Виталий Афанасьевич, — просили мы его, — расскажите, за что вы в тюрьму попали.

Он вздрагивал каждый раз, и каждый раз это приводило нас в неописуемый восторг.

— Кречет! Кречет! — шептал Воробей.

— Притворяется, что Кречет! Пинкертон! — уверял Горбушка.

— Бандит! — всхлипывали мы.

— Куда? — усмехался Налетчик. — В тюрьму? Вот чепуха-то. Откуда вы взяли?

И, посмеявшись, он расталкивал нас и шел в канцелярию, насвистывая «Ойра-Ойра». Он делал вид, что ничуть не смущен, но мы-то отлично видели, как дрожат его руки и неестественно корежится спина.

— Легавых боится, — объяснял Цыган. И мы понимающе и сочувственно вздыхали и снова и снова строили самые невероятные предположения насчет загадочной личности Виталия Афанасьевича Л.

И вдруг Налетчик исчез. Он не пришел на один урок, не пришел на другой и не пришел на третий. Викниксор только хмурился и пожимал плечами, когда мы спрашивали у него, что случилось с Налетчиком. Другие халдеи тоже настойчиво отмалчивались.

— Болен, — решили самые трезвые из нас.

— Засыпался, — решил Цыган.

— В Англию уехал, — объявил Горбушка. — Получил депешу и уехал. Определенно…

Воробей молчал и улыбался, делая вид, что знает больше всех, но, по известным причинам, должен держать язык за зубами.

Мы ждали Налетчика, скучали без него, особенно Купец и компания, но постепенно нам надоело обсуждать его исчезновение, разговоры эти были бесплодны, и мы начинали уже его забывать. К тому же в начале июня пришел из больницы Косталмед, похудевший, осунувшийся, но по-прежнему грозный и похожий на льва. Грива его ничуть не поредела после тифа, и архидьяконский голос также ни чуточки не пострадал. Косталмед немедленно же приступил к исполнению своих обязанностей, и теперь мы уже боялись и думать о возвращении его заместителя.

— Хватит и одного, — говорили мы. — С двумя, пожалуй, и ноги протянешь.

Однажды летом мы играли на школьном дворе в лапту. С особенным неподражаемым шкидским хохотом (от которого звенели стекла и редкие птицы улетали повыше в облака) мы носились за маленьким арабским мячиком. Мы разыгрались, расшумелись и не заметили, как в одном из окон второго этажа, где помещался клуб, появилась фигурка Японца.

— Ребята! — кричал Японец, размахивая огромным газетным листом. — Ребята! Сюда! Скорее!

Увидев его взволнованное лицо и не понимая еще, в чем дело, мы с мячиком и ракетками в руках побежали в клуб.

Японец стоял посреди комнаты и прятал за спиной номер «Известий». Щеки его горели, он волновался.

— Ну, что? — закричал Янкель. — Что-нибудь в Гамбурге? Да?

— Нет, не в Гамбурге, — ответил Японец.

— Где-нибудь революция? — спросил Воробей.

— Нет, не революция, — сказал Японец.

— Да ну тебя, — закричал Цыган. — Говори ты, в чем дело?

Японец вытащил из-за спины газету и, развернув ее, медленно и выразительно прочел:

— «Приговор по делу последышей белобандитов».

— Каких последышей? — возмутился Горбушка. — Надо же, а? Ты что ж это нас от игры оторвал? Очень нам интересно про каких-то последышей слушать.

— Действительно, — возмутились другие.

— Ша! — закричал Японец. — Слушайте, черти.

И, взобравшись на табурет, он прочел от начала до конца маленькую газетную заметку:

— «Сообщение РОСТА. В номере от 16 июня сообщалось о раскрытии контрреволюционной организации „Владимировцев“ в Петрограде. Группа деникинских офицеров во главе с Николаем Р., связавшись через посредство консульства одной из соседних лимитрофных держав с остатками штаба Деникиной добровольческой армии в Париже, занималась при содействии тех же дипломатических пособников экономическим, а отчасти и военным шпионажем. В феврале этого года группой „Владимировцев“ был совершен неудачный поджог на фабрике „Красный арматурщик“. Постановлением коллегии ГПУ от 18 июня с.г. все 14 членов контрреволюционной группы „Владимировцы“ приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение».

— Здорово! — сказал Цыган.

— Надо же, — повторил Горбушка. — Стоило из-за этого лапту бросать.

— В самом деле, — поддержал его Джапаридзе.

Нам тоже показалось, что не стоило бросать лапту из-за каких-то деникинских последышей.

Тогда Японец взял со стола другую газету и прочел заметку:

— «Сообщение РОСТА. ГПУ раскрыта контрреволюционная организация бывших деникинских офицеров. Во главе организации стоял известный монархист, член Государственной думы IV созыва Р. Правой рукой Р. состоял бывший кавалерийский офицер Л.»

Японец опустил газету.

— Л.! — воскликнул Цыган. — Это уж случайно не Налетчик ли?

— И не случайно, — ответил Японец. — Действительно, он.

— Брось ты, — сказал Цыган. — Совпадение, наверно.

— Ясно, что совпадение, — решили мы.

Тогда Японец пробежал глазами заметку и прочел из середины одну-единственную фразу:

— «Подсудимый Л. несколько месяцев работал в Василеостровском отделении Коммунального банка и в школе для дефективных подростков имени Достоевского».

Мы побледнели.

— Он, — сказал Воробей.

Несколько минут мы мрачно молчали. Наконец Воробей сказал:

— Вот сволочь-то, — сказал Воробей. — А мы его еще налетчиком называли!..

**Травоядный дьякон**

Запомнился нам еще преподаватель рисования, Василий Петрович Сапожников.

Длинноволосый, похожий на дьякона, он почти целый месяц пробыл в республике Шкид и не получил от нас никакого прозвища. Лишь в последние дни дефективные граждане наградили Василия Петровича по заслугам. Досталось ему и от нас, и от младших ребят, и от самого Викниксора.

Пребывание Василия Петровича в школе такое продолжительное время могло бы показаться загадочным. Однако загадка эта не была хитрой. К рисованию и мы, и Викниксор относились без особого пыла, нам этот тихий преподаватель нисколько не мешал, а Викниксор, вероятно, думал, что все в порядке.

Василий Петрович приходил по вторникам и субботам в класс, здоровался, если была охота, а не то просто садился на свое место и говорил:

— Ну, дорогие друзья, приступайте к занятиям.

Сидел он откинувшись, полузакрыв глаза и почти не двигаясь. Изредка, словно очнувшись, он говорил:

— Рисуйте. Рисуйте.

— Что же нам рисовать? — спрашивали мы.

— Что хотите. Рисуйте зверей, насекомых, бабочек, травоядных.

Рисовать травоядных мы не умели и предпочитали писать стишки, дуться в очко, читать или рассказывать вполголоса анекдоты. Василий Петрович настойчивым не был и никогда нас не контролировал.

И вдруг в конце месяца он заявил:

— Устроим экзамен.

Особого переполоха это заявление не вызвало. Однако мы были порядочно удивлены, когда Василий Петрович собственноручно принес из канцелярии стопку бумаги, карандаши и резинки и, распределив все это по партам, внушительно объявил:

— Рисуйте!

— Что рисовать? — удивился кто-то. — Травоядных?

— Нет, — сказал Василий Петрович, — рисуйте меня.

— Да что вы! — воскликнул Японец, принимая слова Василия Петровича в шутку. — Да где нам! Да разве мы смеем!.. Разве мы можем!

— Молчать! — закричал вдруг Василий Петрович. — За месяц вы вполне могли научиться рисовать. Прошу у меня без шуток.

Он шумно придвинул к доске учительский стул и сел, закинув львиную гриву.

Некоторые из нас, обладавшие хоть какими-нибудь талантами в рисовании, постарались вывести греческий профиль Василия Петровича. Другие с грехом пополам, кое-как нарисовали нос, волосы и уши. А бедняга Японец, не умевший нарисовать даже домик с трубой, из которой клубится дым, пыхтел, пыхтел и начертил, наконец, какую-то картофелину — лицо, сбоку картофелину поменьше — нос и две не похожие одна на другую клюквины — глаза. По странной, как говорится, прихоти случая в этом натюрморте легко можно было узнать Василия Петровича.

Пришло время сдавать работы. Василий Петрович неторопливо собрал их в стопочку и стал проверять.

С одобрением он проглядел рисунки Янкеля, Воробья и Дзе. Усмехаясь и покачивая головой, перелистал несколько неудачных рисунков и вдруг остановился на работе Японца.

Лицо его под звериной гривой побагровело.

— Георгий Еонин! — воскликнул он. — Эта ваша работа?

— Моя, — ответил Японец без особой гордости.

— Прекрасно, — сказал халдей. — Вы будете записаны в «Летопись».

— За что? — закричал Японец.

Халдей не ответил, откинулся на спинку стула и, полузакрыв глаза, окаменел. Постепенно багровая краска его лица перешла в фиолетовую, потом в бледно-розовую, и наконец Василий Петрович успокоился. Успокоились и мы.

Прошло пятнадцать минут, прозвенел звонок, и мы уже забыли о странном обещании Василия Петровича. Но не забыл Японец. Недаром он так горячо ненавидел халдеев. Недаром он разрабатывал целую философскую теорию «о коварстве халдейском».

«Коварство халдеев коварству змеи подобно, — писал он однажды в своем журнале „Вперед“. — Есть змеи безвредные подобно ужу, но нет халдея беззлобного и честного. Поверю охотно, что удав подружился с ягненком, что волки и овцы пасутся в одной Аркадии, но никогда не поверю, чтобы живой халдей жил в мире с живым шкидцем».

И теперь он долго надоедал нам своим ворчанием.

— Запишет, подлец, — говорил он, угрюмо шмыгая носом. — Ей-богу, запишет. Головой ручаюсь, запишет.

— Да брось ты, — сказал Воробей. — Василий Петрович и — вдруг запишет. Мало ли что сгоряча сказал.

— Ясно, что сгоряча!

— Василий Петрович не запишет, — сказал Янкель.

— Василий Петрович добрый, — сказал Горбушка, — он мне три с минусом поставил.

Мы даже не утешали Японца. Настолько нелепыми нам казались его опасения.

Но он не успокоился. Как только выдался удобный случай, он проник в канцелярию и отыскал «Летопись». Вернулся он оттуда красный и возбужденный.

— Добрый?!! — закричал он страшным, плаксивым голосом. — Добрый? Не запишет? Кто сказал: «Не запишет»?

— А что такое? — полюбопытствовали мы.

— Подите посмотрите, — невесело усмехнулся Японец.

Всем классом мы отправились в канцелярию.

Толстая «Летопись» лежала на столе, раскрытая на чистой, только что начатой странице. Наверху, на самом видном месте, красовалось свежее, еще не просохшее замечание:

«Воспитанник Еонин во время урока намалевал отвратительную карикатуру на своего наставника».

От неожиданности мы не могли говорить.

— Черт! — вырвалось наконец у Цыгана. — Ну и тихоня!

— Ну и подлюга! — сказал Джапаридзе.

— Ну и гад! — сказал Янкель.

Японец стоял у дверей и с грустным, страдальческим видом разглядывал грязные ногти.

— Что же это такое, дорогие товарищи? — сказал он, чуть не плача. — Разве есть такие законы, чтобы честного человека записывали только за то, что он рисовать не умеет?

— Нет! — закричали мы.

— Нету!

— Нет такого закона!

— Разве это возможно? — продолжал Японец. — Четырнадцатого классное собрание, и мне определенно опять в пятом разряде сидеть.

— Нет! — закричали мы. — Невозможно! Не будешь в пятом разряде сидеть.

Пришел бородач Косталмед и грозными окриками погнал нас из канцелярии.

Собравшись у себя в классе, мы долго и бурно совещались — что делать?

И выработали план борьбы.

Во вторник, двенадцатого числа, Василий Петрович в обычное время пришел на урок в класс. Он не заметил, что в классе, несмотря на весеннее время, топится печка и пахнет столярным клеем.

— Здравствуйте, друзья мои, — сказал он, улыбаясь и встряхивая гривой. Никто не ответил на его приветствие.

Улыбаясь, он сел на свое обычное место у классной доски.

— Приступите к занятиям.

Потом он откинулся на спинку стула, зажмурился и застыл.

Воробей шепотом скомандовал:

— Начинай!

Нагнувшись над партами, мы тихо и нежно завыли:

— У-у-у-у…

Василий Петрович не дрогнул.

— У-у-у-у — загудел Купец.

Японец завыл еще громче.

Гудение нарастало. Как будто откуда-то издалека, из Белого зала, через коридор и столовую летела в четвертое отделение огромная туча пчел.

Василий Петрович не двигался.

— А-а-а! — заголосил Японец.

— Э-э-э-э! — заверещал Мамочка.

— О-го-го! — загоготал Джапаридзе.

— Му-у-у! — мычал и гудел весь класс. Теперь казалось, что уже не пчелы, а стадо диких зверей — леопарды, львы, тигры, волки, шакалы — с топотом ворвалось в класс, чтобы сожрать Василия Петровича.

Внезапно Василий Петрович открыл глаза и спросил:

— Да! Что-нибудь случилось?

На мгновение мы смолкли, а потом еще громче, еще дружней завыли, зафыркали, заулюлюкали.

Василий Петрович широко раскрыл глаза и продолжал улыбаться. Пущенный кем-то с «Камчатки» мокрый комок промокательной бумаги смачно шлепнул ему в переносицу, Василий Петрович вздрогнул и перестал улыбаться. Второй комок мазнул его по губе. Василий Петрович вскочил. И тотчас сел снова.

Колченогий венский стул, добротно смазанный по спине и по сиденью столярным клеем, держал его за подол широкой толстовки.

Наш хохот оглушил Василия Петровича.

Он съежился, зажмурился и плотно прижался к спинке коварного стула. Целая батарея орудий начала палить в него клякспапирными бомбами. Он не успевал вздрагивать.

Огромная бомба, пущенная Купцом, ударила его в кончик носа. Нос задрожал и на глазах у нас посинел и распух. Несколько бомб застряло в звериной гриве. Василий Петрович сидел, похожий на даму, которая перед сном заплетает бумажками волосы.

Вдруг Василий Петрович снова вскочил и в бешенстве стал отдирать от себя стул. Он рычал, подпрыгивал и трясся, как боевой конь, раненный осколком снаряда. Он отбивался от стула локтями, и, когда тот чуть-чуть разжал свои объятия, Василий Петрович закружился, выделывая невероятные па, и стул закружился вместе с ним.

Продолжая орать и смеяться, мы все-таки немного пригнулись и съежились. Мы боялись, что стул, разлетевшись, снесет нам головы. И правда, выпустив Василия Петровича и отхватив порядочный кусок толстовки, стул пролетел над нашими головами и ударился где-то около печки. Дверцы печки раскрылись, и искры посыпались на пол. Василий Петрович стоял у стены, широко дыша и облизывая губы. Потом он потрогал распухший нос, прошипел: «Мерзавцы» — и большими шагами вышел из класса.

Сразу наступила тишина.

— Записывать пошел, — похоронным голосом сказал Янкель.

— И пусть, — проворчал Японец. — Ха-ха!.. Нашел, чем напугать.

— Тебе хорошо, — проворчал Мамочка, — тебе терять нечего.

— Дрейфишь? — сказал Японец.

Все остальные угрюмо молчали. Воробей подошел к распылавшейся печке, захлопнул дверцы и, грустно посвистывая, стал отдирать от сиденья стула клочки материала.

— Суконце-то аглицкое! — сказал Японец.

Никто не засмеялся, не улыбнулся. До перемены мы сидели мрачные, с томительным страхом ожидая появления Викниксора.

Прозвенели звонки, и Викниксор вошел в класс.

Мы встали.

— Сядьте, — сказал Викниксор.

Он походил по классу, нервно постукал себя по виску согнутым пальцем и остановился у классной доски.

— Ну вот, ребята, — сказал Викниксор. — На чем мы остановились в прошлый урок?

Как видно, он был приятно поражен, когда множество глоток радостно ответило на его невеселый вопрос:

— На Перикле! На Перикле!

— Правильно, — сказал Викниксор.

— Ура, — прошептал Воробей.

«Ура! Пронесло», — сияло на наших лицах.

Мы дружно, как никогда, отвечали на каверзные вопросы Викниксора. Путали Лизандра с Алкивиадом, олигархов с демократами и не очень смущались, когда Викниксор выводил у себя в тетрадке единицы и двойки.

Вели мы себя прекрасно, слушали новую лекцию внимательно, и Викниксор к концу урока повеселел и стал улыбаться добродушнее.

— Кстати, ребята, — сказал он, захлопнув, наконец, противную тетрадку. — В эту субботу уроков в школе не будет.

— Как? Почему не будет? — закричали мы, плохо скрывая радость.

— Наши славные шефы — Торговый порт — устраивают для нас экскурсию. В субботу шестнадцатого числа, сразу же после утреннего чая, первый, второй и третий разряды отправятся на Канонерский остров.

— А пятый? А четвертый? — закричали напуганные бузовики.

— Четвертый и пятый разряды останутся в школе. Они понесут заслуженную и узаконенную нашей конституцией кару. Смотрите, — улыбнулся Викниксор, — ведите себя эти последние дни лучше. Выбирайтесь из пятого разряда. Любителям коллекционировать плохие замечания особенно советую поостеречься.

И он посмотрел в крайний угол класса, где сидели Японец, Воробей и многие другие. Японец сопел и мрачно пошмыгивал носом. Он все принимал на свой счет. Он чувствовал, что не выберется из пятого разряда и не пойдет на Канонерский остров.

А это было для него последним наказанием.

Прогулка в порт доставляла ему большую радость. Он не особенно любил купаться, играть в городки, лапту или футбол не умел, окурками не интересовался, и привлекали его эти прогулки исключительно возможностью увидеть иностранных моряков и при случае поговорить с ними на английском, немецком или французском языках, которыми в совершенстве и с гордостью владел Японец.

После звонка, когда Викниксор, пощелкивая себя по виску, вышел из класса, Японец поднялся и заявил:

— Пойду бить морду Сапожнику.

— Кому? — закричали мы.

— Сапожнику! Сапогу! Травоядному дьякону. Халдейскому Рафаэлю!

Целая серия новоизобретенных кличек посыпалась вдруг по адресу Василия Петровича. Сжимая тщедушные кулаки, Японец отправился разыскивать «Рафаэля». Но оказалось, что Василий Петрович сразу же после урока в третьем отделении ушел домой. К счастью для Японца, он на несколько минут опоздал со своей местью.

Ему оставалось ворчать, бубнить и ждать четырнадцатого числа, когда на классном собрании решались наши судьбы.

Наконец наступило четырнадцатое число. После ужина в нашем классе появился отделенный воспитатель Алникпоп и скомандовал:

— Встать!

С «Летописью» в руках торжественным, медленным шагом в класс вошел Викниксор.

— Классное собрание четвертого отделения считаю открытым, — объявил он и сел, положив толстую «Летопись» перед собой. — Александр Николаевич — секретарь, я — председатель. Повестка дня следующая: первый вопрос — перевыборы комиссий, второй — поведение класса и разряды и, наконец, текущие дела.

Алникпоп отточил карандаш и сел писать протокол.

Без особого интереса мы начали выбирать хозяйственную комиссию, потом санитарную комиссию, потом гардеробного старосту.

Кто с ужасом, кто с нетерпением, кто с надеждой — мы ждали следующего акта этой церемонии.

— Поведение класса, — объявил Викниксор. И в наступившей тишине он стал перелистывать страшные страницы «Летописи».

— Коллективных замечаний нет. Ага… Замечательно! Будем подсчитывать индивидуальные.

И он начал читать вслух хорошие и плохие замечания, и каждое замечание отделенный воспитатель Алникпоп отмечал плюсом или минусом в алфавитном списке класса.

— Шестое число, — читал Викниксор. — «Тихиков добровольно вымыл уборную»…

Отыскав фамилию Тихикова, Алникпоп поставил плюс.

— Дальше, — читал Викниксор. — «Николай Бессовестин после прогулки не сдал кастелянше пальто». Верно, Бессовестин?

— Верно, — сознался Бессовестин.

Алникпоп вывел минус.

— Седьмое число. «Воспитанник Королев…» Это какой Королев? Из вашего отделения или из первого?

— А что такое? — поинтересовался Кальмот.

— «Воспитанник Королев работал на кухне».

— Я! я! — закричал Кальмот. — Как же! Конечно, я…

— Извини, пожалуйста, — сказал Викниксор. — Я ошибся. Тут написано: «Королев ругался на кухне».

— Ругался? — сказал Кальмот и почесал затылок. Мы засмеялись невесело и неискренне, потому что у каждого на душе было очень скверно.

— Восьмое число, — читал Викниксор. — «Воспитанник Громоносцев разговаривал в спальне». «Воспитанник Пантелеев опоздал к обеду»… Девятое число. «Воспитанник Еонин намалевал отвратительную карикатуру на своего наставника».

— Ложь! — воскликнул Японец.

— Еонин, — сказал Викниксор. — Будь осторожнее в выражениях. Это замечание подписано Василием Петровичем Сапожниковым.

— Сапожников — негодяй!.. — закричал Японец.

Викниксор покраснел, вскочил, но сразу же сел и сказал негромко:

— Не надо истерики. У тебя всего одно замечание, и, по всей вероятности, мы переведем тебя в третий разряд.

— Ладно, — сказал Японец, засияв и зашмыгав носом.

— Вообще, ребята, — сказал Викниксор, — у вас дела не так уж плохи. Класс начинает заметно хорошеть. Например, десятого числа ни одного замечания. Одиннадцатого одно: «Старолинский ушел, не спросившись, с урока». Двенадцатого… Эге-ге-ге!..

Викниксор нахмурился, почесал переносицу и деревянным голосом стал читать:

— «Воспитанник Еонин во время урока приклеил воспитателя к стулу, причем оборвал костюм последнего».

Мы не успели ахнуть, как Викниксор перелистнул страницу и стал читать дальше:

— «Воспитанник Воробьев подстрекал товарищей к хулиганству и безобразию». «Воспитанник Офенбах мычал, делая вид, что сидит тихо». «Воспитанник Джапаридзе рычал на уроке». «Воспитанник Пантелеев гудел». «Воспитанник Финкельштейн гудел». «Воспитанник Еонин вскакивал и гудел громче всех».

Викниксор остановился, перевел дух и сказал громко:

— Это что же такое?

Потом он опять перевернул страницу и продолжал декламировать страшным голосом:

— «Воспитанник Громоносцев, слепив из бумаги твердую шишку, кинул ее в воспитателя». «Воспитанник Старолинский кидался бумажными шишками». «Воспитанник Офенбах нанес воспитателю увечье, при этом дико смеялся». «Воспитанник Финкельштейн смеялся». «Воспитанник Еонин злорадно смеялся и все время старался попасть воспитателю в рот». «Воспитанник Воробьев попал воспитателю в рот». «Воспитанник Бессовестин кидался». «Воспитанник Ельховский шумел». «Воспитанник Тихиков говорил гадости».

Викниксор читал и читал. Алникпоп не успевал ставить минусы. Мы сидели холодные ко всему и были не в силах кричать, возмущаться, протестовать. Мы ждали только, когда наступит конец этому подробному протокольному описанию нашей бузы.

— «Воспитанник Еонин назвал воспитателя неприличным словом». «Воспитанник Офенбах дважды выругался». «Воспитанник Воробьев издевался». «Воспитанники четвертого отделения коллективно приклеили воспитателя к стулу, после чего устроили нападение и нанесли тяжкие увечья, сопровождавшиеся смехом и шутками». Что это такое? — повторил Викниксор и с шумом захлопнул «Летопись». — Устраивать обструкции на уроках Сапожникова?! Может ли быть что-нибудь безобразнее? Василий Петрович работает в школе Достоевского целый месяц, и за это время у него не произошло ни одного столкновения с воспитанниками. Это идеальный человек и педагог.

— Идеальный халдей! — закричал Японец.

— Тихоня!

— Жулик!

— Пройдоха! — закричали мы.

Надо было ожидать, что Викниксор рассердится, закричит, заставит нас замолчать. Но он проговорил без гнева:

— Объясните, в чем дело?

Вышел Янкель.

— Расскажи, — сказал Викниксор, — что случилось?

— Видите ли, Виктор Николаевич, — начал Янкель, — Василий Петрович действительно пробыл у нас в школе целый месяц, но за этот месяц он ровно ни шиша не сделал.

— Выражайся точнее, — сказал Викниксор.

— Ни фига не сделал, — поправился Янкель. — На уроках он спал, и класс что хотел, то и делал. Рисовать никого не учил. Даже краски и карандаши никогда не приносил на урок. И вдруг на прошлой неделе он потребовал, чтобы мы нарисовали его собственную персону.

— Что-о?! — удивился Викниксор.

И Янкель подробно рассказал историю с Японцем. Рассказывал он смешно, и мы улыбались и хихикали.

— Прекрасно, — сказал Викниксор и защелкал себя по виску. — Но все-таки, ребята, это решительно не дает вам права устраивать вакханалии, подобные описанной здесь. — Викниксор похлопал по крышке «Летописи». — Весь класс переводится в пятый разряд, — объявил он. — В субботу экскурсия вашего класса в порт отменяется…

Мы взвыли:

— Виктор Николаевич! Несправедливо!

— Простите!

— Пожалуйста, Виктор Николаевич!

Викниксор поднял руку. Это обозначало: «Кончено! Разговор исчерпан».

Но тут, засверкав стеклами очков, выступил Александр Николаевич Попов, наш отделенный воспитатель.

— Виктор Николаевич, — сказал он. — Довожу до вашего сведения, что случаи, подобные этому, имели место и в других отделениях. Например, во втором отделении Сапожников записал четырех воспитанников за отказ рисовать его профиль. Третьего дня мне жаловался Володя Козлов из первого класса, будто бы Сапожников грозил сослать его в Лавру — за это же самое, за отказ рисовать профиль. Простите, но этот человек или ненормальный, или негодяй.

Викниксор насупился, помрачнел и барабанил по коленкоровой крышке «Летописи». Уши его шевелились. Это случалось всегда, когда он чересчур волновался.

— Прекрасно, — сказал наконец Викниксор. — Сапожников будет снят с работы. С этой минуты он уже не числится больше в наших штатах. — Побарабанив еще немного, Викниксор добавил: — Приговор отменяется.

Мы долго и дружно кричали «ура». Мы бесновались, вскакивали, хлопали в ладоши и за неимением шапок подкидывали к потолку свои книги, тетради и письменные принадлежности.

Наконец Викниксор поднял руку.

— Кончено. Разговор исчерпан.

В радужном, праздничном настроении мы приступили к «текущим делам».

Через два дня, в субботу, состоялась экскурсия на Канонерский остров. Утром после чая мы строились во дворе в пары, когда в воротах показалась величественная фигура Василия Петровича. Он приблизился к нам, улыбнулся и дружелюбно поклонился.

— Здравствуйте, друзья мои, — сказал он.

— До свиданья, друг мой, — ответили мы.

Мы могли бы ответить иначе, покрепче, но поблизости стоял Алникпоп и строго сверкал очками.

**География с изюмом**

Однажды в перемену к нам в класс ворвался третьеклассник Курочка.

— Ребята, послушайте, вы видели нового халдея?

— Нет, — сказали мы. — А что такое?

— Увидите, — засмеялся Курочка.

— А что такое? — поинтересовались мы. — Заика? Трехглазый? Двухголовый?

— Нет, — сказал Курочка. — Обжора.

— Ну-у, — разочарованно протянули мы. Потому что обжорство вовсе не казалось нам интересным, достойным внимания качеством. Мы сами прекрасно и даже мастерски умели есть. К сожалению, наши способности пропадали даром: наш ежедневный паек стоил всего двадцать четыре копейки золотом и очень легко умещался на самом дне самого мелкого желудка.

— Он у нас только что на уроке был, — продолжал Курочка. — Потеха!

— А что он преподает? — спросил Янкель.

— Что преподает? — переспросил Курочка. — А черт его знает. Ей-богу, не знаю.

Курочка добился своего. Мы с любопытством стали ждать появления нового халдея.

Он пришел к нам на четвертый урок.

Толстенный, бегемотообразный, он и без предупреждения развеселил бы нас. А тут, после загадочных рассказов Курочки, мы просто покатились со смеху.

— Наше вам! — прокричал Японец. — Наше вам, гиппопотам!..

Тряхнув двойным подбородком, новый халдей грузно опустился на стул, который, как нам показалось, жалобно застонал под его десятипудовой тушей.

Лицо халдея лоснилось и улыбалось.

— Смеетесь? — сказал он. — Ну, смейтесь. После обеда хорошо посмеяться.

— Мы еще не обедали! — закричал Мамочка.

— Нет? — удивился толстяк. — А когда же вы обедаете?

— После ужина.

— Шутишь, — улыбнулся толстяк. — Ужин бывает вечером, а обед днем. — Он хохотал вместе с нами.

— У нас, понимаете ли, свои обычаи, — сказал Цыган. — Представьте себе, мы обедаем в три часа ночи.

— Ну? — удивился халдей и, нахмурившись, добавил: — Я ведь узнаю, ты меня не обманешь…

— Почему вы такой толстый? — крикнул Горбушка.

— Толстый? — захохотал толстяк. — Это я-то толстый? Чепуха какая. Вот лет семь-восемь тому назад я действительно был толстый. — Он ласково погладил себя по животу. — Я тогда ел много.

— А сейчас?

— А сейчас мало. Сейчас я вот что ем каждый день. — Он придвинулся вместе со столом и стулом поближе к нам и стал считать по пальцам: — Утром четыре стакана чаю и два с половиной фунта ситного с изюмом.

— Так! — воскликнули мы.

— На завтрак одну или две котлетки, стакан молока и фунт ситного с изюмом.

— Так, — сказали мы.

— На обед, разумеется, супчик какой-нибудь, жаркое картофельное, манная каша, кофе и фунт-полтора ситного с изюмом.

— Так, — с завистью сказали мы.

— На ужин я пью чай и ем тот же проклятый ситный с изюмом. Перед сном выпиваю молока и ситного съедаю… самое большее с фунт.

— Бедняга! — воскликнул Янкель. — Как же вы только живете? Голодаете небось?

— Голодаю, — сознался халдей. — Если б я не голодал, я бы к вам в преподаватели не нанялся.

— Кстати, — сказал Янкель. — А что вы будете у нас преподавать?

— Эту… — сказал толстяк. — Как ее… Географию.

Он усмехнулся, проглотил слюни и продолжал:

— Вот раньше, до революции, я ел… Это да! Меня во всех петербургских кухмистерских знали. Не говоря уже про первоклассные рестораны — Кюба там, Донон, Медведь, Палкин, Федоров. Приду, а уж по всем столикам: «Суриков пришел!» Это я — Суриков… Моя фамилия. И не только гости, но и вся прислуга в лицо помнила. Сяду за стол, а лакей: «Что прикажете, господин Суриков?» — или: «Слушаю-с, господин Суриков». У Федорова даже блюдо особое было — «беф Суриков». Вам это интересно? — внезапно спросил Суриков.

— Интересно! Интересно!

— Ну, так я вам еще расскажу. Расскажу, как я на пари поспорил с одним сослуживцем в кухмистерской «Венеция» у Египетского моста. Поспорили мы на масленице, кто больше блинов съест. Багров говорит, что он, а я утверждаю, что я. И поспорили. И, как вы думаете, кто больше съел: я или Багров?

— Конечно, Багров! — закричал Янкель.

— Багров! — закричали мы.

— Багров? — воскликнул толстяк и подскочил на стуле. — Вы серьезно думаете, что Багров?.. Так я вам вот что скажу: Багров съел четырнадцать блинов, а я тридцать четыре… Это что, — перебил он самого себя. — Блины я не очень люблю, от них пить хочется. А вот сосиски — знаете? — с капустой. Я их съедаю без всякого спору, добровольно, по тридцать штук. В кухмистерской «Лондон» — знаете? — на Вознесенском, я однажды съел восемнадцать или девятнадцать порций жареной осетрины. В трактире — не помню названия — в Коломенской части меня посетители бить хотели за то, что я все бутерброды с буфета сожрал. В трактире «Бастилия»…

Толстяк раскраснелся, глаза его налились жиром и страшно сверкали. Мы молча следили за выражением этих глаз. Странная злоба закипала в наших сердцах. Мы сильно хотели есть, как всегда хотели, нас ожидал невеселый обед из пшенного супа и гречневой размазни, а тут человек распространялся о жареной осетрине, сосисках и ситнике с изюмом, которым мы угощали себя только в мечтах, да и то с оглядкой.

— В трактире «Бастилия» на Васильевском острове я в девятьсот десятом году сожрал целого поросенка с кашей. В Петергофе, кажется на вокзале, таким же образом я съел целого жареного гуся. И после еще двух рябчиков съел. В девятьсот четырнадцатом году в ресторане Носанова, угол Морской и Невского, я съел на пари сотню устриц…

В класс вошел Викниксор. Толстяк оборвал себя на полуслове.

— Занимаетесь? — улыбнулся Викниксор.

— Занимаемся, — улыбнулся Суриков. — Интересуемся, кто чего знает. Хорошие, между прочим, у вас ребята.

— Да-а, — сказал Викниксор неопределенно.

— Итак, — сказал Суриков. — Вот вы… — он обратился к Японцу. — Чего, например, вы знаете по географии?

Японец встал и развязно прошел к доске.

— Знаю по географии очень много.

— Замечательно. Говорите.

— Вот, — сказал Японец, — Венеция находится у Египетского моста. Париж находится угол Морской и Невского. Лондон — не знаю, где находится, — кажется, в Коломенской части.

— Еонин! — воскликнул Викниксор, не замечая, как покраснел преподаватель. — Ты забываешь, по-видимому, что я здесь и что тебе грозит изолятор и пятый разряд.

— Нет, — возразил Японец. — Напрасно обижаете, Виктор Николаевич. Я повторяю те сведения, которые сообщил нам в своей высоконаучной лекции товарищ преподаватель.

Викниксор посмотрел на Сурикова. Тот долго сопел и пыхтел и наконец выговорил:

— Я им рассказывал тут кое-что из своей жизни. А они, вероятно, подумали, что это география. Так сказать, номером ошиблись.

— Вот, дети, — обратился он к нам. — Знайте: Лондон находится в Англии. Так сказать, главный город.

Викниксор помрачнел, пожевал губами и хотел что-то сказать. Но тут зазвенел звонок, и несчастный толстяк был избавлен от позора публичного изгнания. Он ушел сам. Его не выгнали с треском, как выгоняли многих.